

ТАМ, НА КРАЮ ОВРАГА

Там, на краю оврага, вырыл нору суслик. Это был один из тысяч и тысяч подземных ходов, которые имеют вход и выход, укрытые в густой траве вдоль оврага. Суслик выскакивал из норы, становился на задние лапы, горлопливо осматриваясь, отвечивал поклоны на все четыре стороны и только после этого бросался в пожелтевшее пшеничное поле. Возвращаясь, он снова отвечивал поклоны на север, запад, юг и восток и нырял в холодную нору — маленький капиллярный сосудик, уходящий далеко под землю.

Стоял август, обросший травой, хлебами и солнцем, последние дни августа, когда до начала нового счета остается совсем немного.

* * *

Мальчишка пошел влево, потом повернул вправо и попал на дорогу. Он нашел палку и стал сшибать зернистые верхушки травы по краям дороги: слева направо и справа налево — раз, раз, раз... Оставались последние дни до школы. Ему не хватило лета, чтобы отдохнуть, и он чувствовал, что ему не хватит детства, чтобы набегаться вволю.

Мальчишка все дальше и дальше уходил от деревни по узкой заросшей дороге, пахнувшей бессрочным, незакатным летом. И лето расстилалось перед ним широко-широко: мальчишка уже знал, что горизонты — это мираж, который кроме самого слова, ничего не имеет. Он мечтал снести однажды горизонт, как заборы, чтобы видеть сразу и день и ночь — семь цветов радуги — там, где они сходятся и расходятся.

Мальчишка шел неторопливо, потому что ему не хотелось уходить из лета и возвращаться к матери, которая обязательно будет

говорить о школе. Но ему не пришлось уйти далеко.

Мать видела, как мальчишка уходит все дальше и дальше от нее, и молчала. Она еще могла бы вернуть его, но она вспомнила, что ей не один раз придется окликать его в сентябре, когда он, позабыв о школе, вот так же пойдет к краснеющим горизонтам. А до сентября оставалось всего несколько дней — так себе, мелкая, звонкая монета, на которую ничего не купишь. Пусть уж он возьмет ее себе и распорядится этой мелочью, как хочет. Она, вздохнув, согласилась с ним — пусть: мальчишки вырастут, когда остаются наедине. Она уже давно мечтала о дне, когда он скажет ей не мальчишеское «мама», а мужское «мать».

Много лет назад вот так же просто от нее уходил муж. Тогда ничего нельзя было поделать: где-то уже совсем недалеко от деревни рвались снаряды. Она долго шла рядом с мужем и все целовала его, целовала, пока он не убежал от нее. Он побежал, а она, остановившись, крикнула ему то же самое, что повторяла перед этим тысячу раз:

— Возвращайся!

А вот это, последнее, он, видно, не услышал. Через два года крепко-накрепко его расцеловала немецкая проститутка — маленькая пуля-хохотушка, и он так навсегда и остался с ней, даже не написав письма. Она узнала об этом ранней весной, когда за деревней, среди подснежников, снова гремели взрывы, срывая подснежники и бросая их к ее ногам. Она поднимала подснежники и шла на взрывы, но они умолкали прежде, чем она успевала до них дотянуться, и ей ничего не оставалось, как вернуться домой. И все-таки что-то случилось: ей казалось, что ее душу теперь навсегда опечатали и уже никто не

сможет в нее проникнуть. Она ошиблась. Она не подумала тогда об этом мальчишке.

Десять лет — для нее это был тяжкий груз. Они проходили мимо — незнакомые и чужие — они торопились, чтобы, как спасательная команда после военного пожара, бури, наводнения, расставить все по своим местам, а она непонимающе смотрела, кому и зачем это нужно. По ночам она оставалась наедине со своей бабьей тоской, а утром, с трудом поднявшись, смазывала искусанные губы желтым вазелином и шла на работу. Сначала, как ролик киноленты, по ночам она видела одно и то же: где-то уже совсем недалеко рвутся снаряды и муж убегает. Безвкусные, пресные годы потянулись, как дожди, и у нее не было ни желания, ни сил что-либо менять в своей жизни.

Впрочем, что-то должно было случиться: жизнь, как игрок, не признает вечного шаха и всякий раз ищет новый ход. И это, в конце концов, случилось. Она вовсе не думала о том, кто в данном случае проигрывает, — она сделала ход и смела фигуры. Он приехал в командировку — откуда-то из города и позвал ее, быть может, не надеясь на успех. Она равнодушно — не из желания и не из тщеславия — именно равнодушно прыгнула в эту воду, просто окунулась с головой — плыть пришлось немного, и она, одеваясь, поняла, что легче ей от этого не стало. Он тоже оделся и ушел, тихонько прикрыв за собой дверь, а у нее не осталось ни радости, ни сожаления — одна пустота. Будто ничего не случилось — она уснула так же тяжело, как всегда, и, словно неоткрытая земля, осталась опять одна, не принимая ни радиосигналов, ни света далеких прожекторов.

Но уже скоро, через несколько месяцев, люди легко рассмотрели, что она таит в себе великое богатство для сплетен, и навели на нее десятки чутких локаторов. Ей некуда было скрыться от них, и она шла по улице, принимая множество вспышек осуждения, злобы, гнева, принимая и гася их в себе. Опять она была одна, пока не появился мальчишка.

Мальчишка спас ее от тоски и от сплетен, он вывел ее из небытия и привел в мир, населенный людьми. Ей нелегко было привыкнуть в нем, но, привыкнув, она решила там остаться навсегда. За эти годы она, казалось, залечила все свои раны и забыла о их боли.

И вот теперь, за несколько дней до сентября, мальчишка вышел за деревню и свернул вправо. Она не решилась его окликнуть. Она стояла и смотрела, как он уходит.

* * *

Больше двадцати лет назад мина зарылась в землю, не выполнив чье-то задание, и, казалось, навеки похоронила там жуткую силу своего единственного слова. Она лежала, как обретенное яйцо, ни больше, ни меньше: белок — это стальная оболочка, и желток — небольшой, туго свернутый смертельный комок, разлетающийся на тысячи искр. Больше двадцати лет длился ее летаргический сон, и только однажды, когда суслик, проводя мимо нее ход в свое жилище, прикоснулся к ней, она, приготовившись, замерла, но удар был слишком мягкий и никто из них не пострадал. Потом они привыкли друг к другу и уживались как хорошие соседи. И все-таки мина обладала слишком большой силой, чтобы неслышно умереть вместе с ней. Она утала от собственной тайны. Она с нетерпением ждала той минуты, когда можно будет сказать свое единственное слово. Ее жизнь закончилась в смерти.

* * *

А мальчишка все шел и шел к горизонту — маленький, недавно спущенный на воду корабль, плывущий по Великому Летнему морю. Начинаясь отлив — до сентября оставалось всего несколько дней, и мальчишке трудно было повернуть обратно, чтобы подготовиться и начать плавание по новому курсу. Он шел, стуча по степи палкой, к далекому горизонту, а горизонт отступал все дальше и дальше, куда-нибудь к Африке, где не бывает зимы. Но мальчишка настойчиво шел за ним.

Суслик выкатился из норы и, оглядываясь, покатился по грустной и пожелтевшей степи. У оврага суслик остановился и, как всегда, встал на задние лапы, оглядываясь по сторонам. И тут он увидел мальчишку. Инстинкт сработал мгновенно. Перевернувшись в воздухе, суслик упал в нору.

Мальчишка остановился. Ему хватило одной секунды, чтобы из мальчишки превратиться сразу в командира и капитана. Размахивая палкой — ура-а! — он бросился к норе. Перед ним был вход в укрытие врага. Не раздумывая, мальчишка вонзил в него палку.

Степь, охнув, сжалась, охватив в последних днях августа уходящее лето.

Сверкнули тысячи искр, и тишина разлетелась на мелкие кусочки, которые потом долго собирали горизонты.

Суслик, выскочив из норы с другой стороны оврага, долго-долго бежал по вздрагивающей, как от землетрясения, степи. Он так никогда больше и не вернулся к оврагу.

Там, на краю оврага, взрыв поднял из

норы натасканное сусликом зерно. Оно лежало на две воронки — желтое и мудрое — как подарок мальчишке.

А потом, на следующий год, на этом месте выросла пшеница.

ИМЕНА

Жила-была мать, и было у нее четыре сына, четыре славных молодца...

На этом сказка кончается.

Если хочешь — можно начать со сказки любую историю. Но потом сказка в этой истории, как детство в жизни человека, вдруг кончается и начинается то, что было в действительности.

Извини, пожалуйста, сказка, прощай, детство, — в сорок первом началась война и сказки вместе с детьми увезли на восток, а с востока трех материных сыновей вместе с другими сыновьями повезли на запад. Четвертый сын был еще маленький и для войны не годился. Он мог читать сказки, но сказки в ту пору были глухими и немymi — глухонемыми, они не звучали и не откликались — видно, их оглушило войной, как тогда говорили, контузило, и они лежали на полках, как на больничных койках.

Вместо сказок четвертый сын слушал сводки. В сводках говорилось о погибших — и их нельзя было спасти никакой живой водой, упоминались села и города — по ним можно было учить историю и географию, сводки звучали как заклинания: сегодня, завтра и во веки веков не упади, не отступи, не умри.

В сорок первом — летоисчисление в войну шло своим чередом — под Москвой погиб первый материн сын. Его звали Василием — такое у него было имя, и оно ему шло.

— Под Москвой, под Москвой, — шептала мать, пытаясь соединить в себе оборванные клетки, но они никак не соединялись. Москву мать знала, и это ее немного успокоило.

В сорок третьем году под Курском погиб второй материн сын. Его звали Петром, и после него осталось только одно это имя, будто сам он вышел из вагона номер двенадцать и пропал, а поезд, не дождаввшись его, ушел дальше. Казалось бы, ничего страшного: в вагоне номер двенадцать поехали другие пассажиры — мало ли людей с именем Петр продолжали жить на свете, но у матери был один Петр, и она, потеряв его, потеряла полмира.

А война, как поезд без расписания, все шла и шла. Были и у нее свои станции, которые объявляли в сводках, но когда она дойдет до конечной точки — знали плохо. Она и не торопилась доходить — война никогда не торопится.

В сорок пятом году под Берлином погиб третий материн сын. Ему оставалось сделать всего один шаг до мира, всего один шаг из тысячи, когда он упал и уже больше не поднялся. Его звали Никитой, и имя его потом записали на гранитной плите, обращенной к солнцу, — маленькая записка, которую можно читать даже жителям других планет. После войны остался порох и остались снаряды, но от материных сыновей, ушедших на войну, ничего не осталось, словно они прищипли друг другу как раз впору — война и сыновья, и только-только друг на друга их хватало. Мать собрала их имена — эти стреляные гильзы калибра года рождения, которые брэнчали, задевая друг друга, будто стонали об утрате своей сути, — мать собрала их и оставила себе, чтобы мальчишки, случайно подобранные, не могли играть ими в войну.

Было у матери четыре сына, а остался один. После войны он вырос и в один и тот же год стал ровесником всех своих братьев, потому что они рождались и умирали через два года друг после друга, а он, родившись позже, продолжал жить. Его звали Андреем, и только одно это имя сохранило полный смысл и полное звучание, без пустотелости и эха.

Все его звали Андреем — все, кроме матери. Мать тоже хотела бы называть его так, как зовут другие, но одно его имя у нее никак не получалось. Сначала ей на ум приходили имена ее погибших сыновей, эти стреляные гильзы калибра года рождения, которые брэнчали, задевая друг друга, и она называла их, словно стреляла холостыми патронами, и только потом, когда оставалось одно имя, она называла и его — живое, счастливое имя своего четвертого сына.

— Василий — Петра — Никита — ...Андрей, — говорила она. — Василий — Петра — Никита — Андрей.